
Елена Ермолович

Два рассказа

Кот

Дом стоял на сутулом горбу крутого спуска, и к самым дальним подъездам от земли тянулись лесенки, чем дальше, тем выше, для того, чтобы как-то уравновесить изгиб. У последнего подъезда лестница была совсем уж высока, с перильцами, перевитыми так и эдак, и напоминала чем-то сериалы про Нью-Йорк. Где герой провожает героиню до двери, и они стоят на таких же вот ступенях с перевитыми перильцами и говорят долго-долго, и потом целуются. Яну нравились сериалы про Нью-Йорк, «где я не буду никогда», он помнил, какие там бывают и герои, и героини, и подъезды. И эта крутая лестница в обрамлении перил и пухлых кустов сирени, внезапная в склочном райончике Кунцево, где обычно сплошь морды, спортивные штаны да закладки, — она порадовала.

Пассажирка вышла сразу, ждать не пришлось, — вся в черном, с саквояжем в руке. С ног до головы в черном — пальто, чулки, платье, — вылитый гаитянский тонтон-макут, только кроссовки снежно-белые. Полы пальто были распахнуты, и под пальто она была вся перетянута, как сосиска, как будто какое-то специальное белье пережимало ее в талии и на бедрах крест-накрест, платье в обличку очень все это подчеркивало. Она была без маски, высокий ворот поднят до глаз, закрывая нос и рот, и Ян подумал: «Пойдет». Ян на всякий случай тоже натянул на нос маску — боевую, повидавшую виды, с уже натертым желтым пятнышком там, где нос.

— Ян, белая «Киа»? — уточнила пассажирка в раскрытое окно, прежде чем сесть. Ворот ее платья-водолазки поднят был так высоко, что нижние покрашенные ресницы царапали его, кажется, даже с жестяным звуком. На носу у пассажирки сидели блестящие очки в золотой оправе из забавных полукружий, делавшие лицо ее совсем уж анонимным.

— Ага, — согласился Ян.

И она уселась. Вдвинув сперва на сиденье свой саквояж, — и в саквояже отчетливо мявкнуло. Ян обернулся, рассмотрел: сквозь решетчатый бок саквояжа угрюмо глядела кошачья серая морда.

Ермолович Елена Леонидовна родилась и живет в Москве, училась в Московском технологическом институте (дизайнер по костюму).

Лауреат премии «ДН». Предыдущая публикация в журнале — 2020, № 6.

— Кошечка у вас?

— Это кот. Питомец, плюс двести рублей к поездке, — напомнила пассажирка, устраиваясь.

— А-а, — припомнил и Ян. — А позвольте ваш пропуск?

Она протянула смятый длинный листок, на котором куриным почерком нацарапан был номер. Она была в перчатках, и поверх них надеты были кольца: с красным камнем, и с синим, и с переливчато-белым, лунным. Адрес был тот же, что и в заявке: «Пэ-о Мосрентген, двадцать первый кэмэ Киевского шоссе». Ян вернул бумажку в перчаточной-сверкающую руку и принялся выкручивать со двора. Пухлая кудрявая сирень коварно царапнула по крыше, а на крутом повороте из саквояжа раздался гневный мяв, переходящий в вой.

— Укачивает, — пояснила пассажирка. — Тс-с, мальчик. А Ян — это Иоанн, как Локлэнд или Баптист?

Ян не знал, что это такое, но на всякий случай ответил:

— Ага.

Машина выплыла со двора и полетела сперва по Верейской, потом по Дорохова. За окном мелькнули четыре широкие трубы, словно горлышки гомерических молочных бутылок, и каждую венчало понурое серое облачко.

— Матвеевская ТЭЦ, — сказала пассажирка. — Здесь никогда не бывает солнечно, всегда пасмурно и дождь.

День был сумрачный, холодный, ветренный и сухой, но словно в подтверждение этих слов на лобовое стекло категорически шлепнулись три капли.

— А Мосрентген, двадцать третий кэмэ — это ведь кладбище? — решился спросить Ян. — Разве кладбища не закрыты на карантин? Или у вас похороны?

— У меня обряд, — ответила она, явно слегка бравируя. Ян даже поглядел на нее в зеркальце заднего вида, она чесала нос сверкающей камнями перчаткой, и между очками и воротом сделалась розовая.

«Обряд» — не хухры-мухры. Люди редко решаются поведать подобное о себе собеседникам, но всегдашнее исключение из правил — попутчики в поезде и таксисты.

— Вы ведьма? — обрадовался Ян.

— Не совсем, — она зарозовела еще ярче.

— А я смотрю, у вас кольца, и с такими камнями...

— Камни хоть как-то помогают, усиливают, а то силенок мало у меня, — пояснила она туманно, красуясь и стесняясь. — Камни — это катализаторы, что ли, плюс один к... — она замялась, явно не решаясь назвать.

— К магии? — подсказал Ян. — А я недавно под ковриком в прихожей соль нашел, и трусы-носки все солью были пересыпаны, вот это что, порча?

— Это приворот, — тихо рассмеялась пассажирка. — Вы женаты?

— С Полинкой так живем.

— Сны видите?

— Кошмары, часто, как меня петлей такой душат и тащат, тащат, тащат, как собаку при отлове.

— Это не то, — тепло успокоила пассажирка. — Слабый приворот, не сработает. Не бойтесь.

— А вы могли бы его — того? Все равно... Отменить?

— Да я немного не про то, я некромант, — в зеркале было видно, как она отрицательно покачала головой. — Но вам это и не надо. Там ничего и не получится. Не бойтесь, — последние слова она сказала ему нежно, как маленькому.

Машина скатилась на МКАД, и на резком повороте кот в переноске заворочался и застонал.

— Бедняга, — пожалел Ян.

Кот крикнул и принялся деловито копать, и в машине бодро и резко запахло экскрементами.

— Остановитесь, — приказала пассажирка, — а то сами же будем нюхать. Ну же, стоп, я выброшу!

Ян скатился на тупиковый съезд. Воняло невыносимо. Съезд упирался в кованный забор, и за забором был лес, ранне-летний, в перьях первой зелени. Пассажирка распахнула дверь, и в машине наперекор запахло лесом, — и хвоей, и тревогой, и прелью.

— Выйдите, поддержите его, — велела пассажирка, — пока я буду выбрасывать.

Ян вышел, протянул руки, и ему немедленно вручен был кот. Тот повис в его руках с надменным, брюзгливым личиком, он был коротконосый, крутолобый, нахмуренный, глазастый, серый, полосатый. Килограммов семь. На шее у него белел замшевый бугристый ошейник, перевитый веревочками.

— Какой ошейник забавный, — похвалил Ян.

— Это гри-гри, — пояснила пассажирка безразлично и непонятно. Она выволокла саквояж на улицу, из кармана взяла прозрачный пакетик, надела на сиятельную свою перчатку и, гордо глядя в сторону и вверх, принялась метать и метать кошачье добро на обочину. Ян из вежливости тоже стал глядеть в сторону и вверх: поверх кота, в лес.

Лес за забором стоял сумрачный, со сводами, как древнерусский терем. Пах невозможно, пронзительно иглами, листьями, запах словно приглашал, заманивал в гости. Поalinkа говорила, что в лесу сейчас как раз пошли сморчки и строчки, — Ян никогда их не видел, но верилось. Птица надрывно скрипела в ветвях, в высоких еловых лапах, что-то обещая.

Ян побаивался леса, его манкой смертной тревоги. Он однажды вот так же, ранним летом, сошел с поля в ельник, под готический свод, и неглубокая впадинка под его ногами, поросшая кудрявой нежнейшей заячьей капусткой, вдруг выдохнула человеческим голосом: «Ах...» Просто «ах», шепотом, мягко и грустно, словно там, в земле, ненароком потревожил кого-то. Как же он потом оттуда бежал — обратно на яркое, солнечное, живое, зеленое поле...

— Всё, давайте теперь его всадим обратно, — напомнила о себе пассажирка. Ян втокнул кота в гостеприимно распахнутое узилище, кот полез молча и мрачно, побрякивая своим загадочным гри-гри. Хозяйка застегнула саквояж, и Ян вернулся за руль.

— Остановите! — попросила она опять уже на подъезде к кладбищу, возле палаток с едой и стройматериалами. — Я поесть куплю. Хороший гость — он завсегда пообедавши.

Ян остановил у ларька, она выбежала и мгновенно вернулась с чебуреком. Из чебурека масло капало ей в рукав, в дорогое, между прочим, пальто. Ян так уставился, что она сказала, как бы объясняя:

— Это уже все равно, — как прежде она говорила ему «не бойтесь».

Она села в машину, велела:

— Помчали!

Но мчать не вышло, тянулась пробка.

— Как же мы заедем, если кладбище закрыто? — спросил Ян.

— А мы и не будем заезжать, я пойду в калитку, а вы подождете. Вы же подождете? Всего полчаса, — она не просила, она приказывала, притом жуя. Она опустила ворот, и Ян увидел ее лицо, розовое, молодое, с губами бледнее кожи. Она откусывала чебурек, и мясо из него давала коту, через решетку, и кот тоже ел, одобрительно рыча.

— Обряд — вы будете эту вот кошку резать на могиле? — еще раз решился Ян.

— Это кот, — поправила она, жуя. — Нет. Нет. Мой лоя не любит кровь. Вот, — свободной от чебурека рукой она вытянула из-за пазухи что-то, сверкнувшее. Ян вгляделся в зеркало — это была заточенная спица. — Без пролития, серое животное, на сороковой день.

— А-а, — согласился Ян. — А трудно колдовать?

— Ла Вей говорит, магия — это как музыкальный слух: или есть у вас, или же нет, — она вновь зарделась, профессиональные разговоры трудно ей давались. — А вы хотели бы? Начать?

— А то. А как узнать — есть, нет?

Машина ползла еле-еле, но доползла почти до нужного поворота.

— Скажите, не думая! — категорично приказала пассажирка, и Ян, не думая, вернее, входя в поворот, ляпнул:

— Тыква!

— Ну вот.

Кот опять, как и прежде на повороте, мявкнул.

— Потерпи, мальчик, — сказала пассажирка без выражения.

«И что?» — подумал Ян. Он притормозил за остановками, на развороте, чуть-чуть не доезжая до калитки.

— Тут?

В голосе его слышалась обида, — к чему же все это было: «Скажите, не думая! — Тыква!»?

— Тут. Сто из ста, — сказала пассажирка, открыв дверь, но еще не вылезая. — Глядите же!

За остановками располагалось небольшое торжище с ритуальными атрибутами: венки, цветы, пластмассовые и живые. И внезапно, позади, на табуретке сидела тыква — не осенью, не в хэллоуин, в июне. Гордая, граненая, болезненно-оранжевая. Вышла баба и унесла тыкву в палатку, — день клонился к закату, торговля сворачивалась.

— Вот видите, — тихо рассмеялась пассажирка, возвращая воротник обратно на нос, до глаз. — Вы можете. Списалось?

Ян закрыл заказ, и с карты у нее списались деньги, — Ян услышал, как брякнуло сообщение.

— Подождите полчаса, — не попросила, приказала она и вышла. Вытянула саквояж с котом и почти побежала по грязи, в калитку, в аллею, в призрачно-белых кроссовках.

Ян вышел, чтобы курить и глядеть ей вслед. Она быстро шла в тених, уже совсем далеко, там, где над аллеями ветви деревьев переплетались в свод, и черная ее одежда, и саквояж в руке почти уже стали не видны, только кроссовки словно сияли. Кладбище, в отличие от леса, не пахло ничем, хотя тоже, казалось бы, — деревья, земляца, прель. Вот она свернула к нужной могиле, — скрылись из виду и кроссовки.

Ян упустил, когда столбик пепла перевесил и упал, ссыпавшись в мерцающие брызги: выходит, уже смеркалось. Сумеречный, темный день.

Он набрал ее через полчаса и через сорок минут — телефон не отвечал. Ян вышел, чтобы покурить еще раз и потом ехать. В сумрачной кладбищенской аллее, казалось, бегали и бегали кошки, серые на сером, но это лишь казалось, конечно, в сумерках.

— Можно прикурить?

Ян обернулся — с ним заговорил мужчина в костюме пыльного цвета. Волосы на пробор, как у лавочника, и очень широко расставлены глаза. Ян протянул зажигалку — визави прикурил, рукав у него был грязный, почудилось, что кровь, но нет, всего лишь земля.

— Отвезете? Багрицкого, пятьдесят один?

Он мгновенно выкурил сигарету, женскую, тонкую в тонких пальцах, бросил окурки в грязь, растоптал — замшевым носком изящного лофера. Сел в машину позади водителя. Он не просил, он приказывал.

— Пропуск? — Ян вернулся за руль.

Пассажир протянул ему узкий, длинный листок, смятый, с написанным куриным почерком номером, и Ян узнал листок, и вернул его тут же, вложил обратно в очень узкую руку. Ян знал, что так нельзя, но не захотелось связываться. В зеркале заднего вида он заглянул в глаза — опасно раскрытые, серые, с необычно широкой радужкой, как у злого мультгероя.

Они ехали молча, назад, словно сматывая обратно клубок: поворот к строительному рынку, МКАД, Матвеевская ТЭЦ (опять три капли упали на стекло), Дорохова, Верейская. Пассажир курил одну за одной в щель окна, не спрашивая, щурил злые глаза. Снял с запястья что-то грязное, замшевое, спрятал за пазуху, под рубашку — к самому сердцу.

Ян не думал, конечно, что это какой-нибудь Люцифер, который из фильма про Константина, и унесет его в ад, просто не хотел связываться. Да и надоела ему история. Полинка написала, что уже дома, и Ян тотчас представил, как шкворчат в сковородке взрезанные сосиски, и пиво млеет, потеет, истекая слезой на льду, и захотел туда, домой, пусть и к соли под ковриком. Пусть.

И когда пассажир хлопнул дверью и бегом взлетел по лесенке, легко, по крутым ступеням (как там — долго прощаются и целуются потом?), касаясь кончиками пальцев тех самых перил. Фонарь зажегся, теплый, желтый, уютный — над этой нездешней лесенкой в самом сердце склочного сердитого Кунцева. И Ян закрыл заказ, и где-то списалась оплата, с той же карты, что и предыдущая. Да?

«Скажи, не думая».

Но Ян не знал, что сказать, ему разве любопытно было узнать, где же булькнуло сообщение о списании? Пассажир курил на лестнице под фонарем, на таксиста не глядел, глядел в сторону и вверх, сощурился совиные злые глаза.

Ян тоже сощурил глаза и увидел, где булькнуло, — вот лежит она, уткнувшись носом в свежую землю нового холмика сорока дней, очки рядом в спутанной траве двумя слезками, в пальцах заточенная спица, черная от крови. Нежная травка, заячья капуста, «ах!». Полы пальто обнимают холмик, и руки обнимают, и в кармане — мелодичный перелив, сообщение о списании. Вот. Вы можете. Сто из ста. Ветви, сплетенные сводами, на земле — черные истлевшие яблоки прошлого года, и раскрытая переноска, в которой прежде когда-то сидела кошка. Вернее, нет. Не так.

Кот.

Трусость

To confuse the issue I refer
To familiar heroes from long ago
No matter how much Peter loved her
What made the Pan refuse to grow

Когда наступает зима и снег по белой лесенке снова идет на землю, голос в моей голове прельстительно шепчет: «Есть шанс... Не все кончено. Мы еще свидимся. Поговорим. О кораблях, о башмаках, о сургучных печатях, о королях и капусте. Не о любви же нам говорить».

У любви к сорока годам уже львиный свирепый лик сифилитика Водемона и жесткий костяной клюв. Тут, если любишь, — то сможешь спрятать труп и замкнуть в коридоре кровь, и вытащить пулю при помощи разогнутой скрепки.

А Лёка — у нас с нею было совсем не об этом.

— У этих туфель удобная колодка?

— Я не знаю.

Я и в самом деле не знаю. Туфли «юнайтед нюд» на железном котурне, но с повисающей в воздухе пяткой — отсутствие каблука, внезапный балетный взлет ступни на мысок. Я не знаю, удобно ли это, но это необычно, забавно — вот и ношу.

Впрочем, она, наверное, спросила, чтобы найти повод заговорить со мной.

Мой собственный кабинет на ремонте, пол отчего-то за ночь вспучился горбом. И меня эвакуировали в бухгалтерию, даже не в нашу — в бухгалтерию родственной организации. В нашу — не решились, потому что беседы со мной действуют на публику разлагающе. Ведь мое амплуа — поп Гапон. Поговорив со мною, трудящиеся принимают хотеть странного. Месяц назад красавец-кладовщик, в прошлом санитар в психушке, такой высоченный, толстенный, веретенообразный, бросил свою кладовку и невесту-менеджера и укатил на севера. Будь собой, следуй за мечтой... Что-то такое я ему, наверное, рассказывала, пока проводила ревизию стеклорезов. Про лорда Вильерса, развязавшего войну, чтобы еще хоть раз увидеть свою невозможную любовь. Или же нет. Да, и водитель один ушел от нас в стриптизеры, именно мой водитель, и нет у меня теперь никакого.

В этой новой комнате меня уже ненавидят. Их главбушка, злобная высохшая старуха, потянулась было оказать мне покровительство, и я слёту оскорбила и ее, и всех бухгалтеров чохом, как Ковригин славистов. Их пятеро, главбушка и четыре рядовые бухгалтерши. И черт меня дернул во всеуслышание припомнить закон Паркинсона про бюрократический мультипликатор: руководитель никогда не наймет себе одного умного зама, ведь тот рано или поздно его подсидит, он наймет двух глупых и разделит между ними обязанности, чтобы ни один из двоих не видел целой картины. Еще лучше — наймет четырех и очень глупых, — это старое правило «разделяй и властвуй».

Я столь щедро плююсь ядом оттого, что сама — внутренний аудитор, вещь в себе, одинокая луна, у меня-то собственных замов нет и не будет. Иногда мне поручают заглянуть на их кухню, потому я и знаю, что на возделываемом ими поле и одному бухгалтеру почти нечем заняться. А эти пятеро обиделись, молчат три дня, и вот вдруг одна внезапно решилась.

— Я правда не знаю, — повторяю я чуть теплее, ведь с ее стороны это все-таки фронда, подвиг, вылазка из-под крыла мегеры-начальницы. — Если что-то мне нравится, уже неважно, удобно это или нет. Главное, — нравится, это со мной так редко бывает.

— Понятно, — она улыбается, как говорят, глазами, то есть шурит их, и за ресницами что-то там вспыхивает такое. У нее длинные ноги, почти как весь мой рост, и странное имя Лёка, как у девочки или у белочки из старой детской книжки по домоводству.

— Что за имя такое — Лёка?

— Ольга всего лишь.

Пол в моей комнате возвращен на место. И я — опять у себя, одна в каморке, листаю от безделья театральные рецензии. Я слышу, как скрипят половицы, как шуришит, осыпаясь, штукатурка, как шепотом отходят от стен обои (словно кожа с мумии), как тихонечко разрушается все наше здание — по шажочку, по пылинке, рассыпается помаленечку в прах. Я не слушаю радио, ведь интереснее — слышать эту негромкую музыку умирания, разрушения, обращения в пепел. И слышать далекий олений цокот чьих-то очень длинных ног по коридору, по млеющим, тлеющим половицам, всё ближе и ближе, как ни странно.

— Пойдешь со мной на обед?

Меня убрали из их бухгалтерской комнаты, но, видать, что-то да осталось. Таинственный яд, уже и прежде отравлявший — того водителя, того кладовщика. Или же Лёка наивно полагает, что я какое-то там начальство и подружиться со мной будет выгодно. На ней короткая, очень короткая кожаная юбка и свитер, падающий с плеча, и длинные мерцающие серьги, и я, конечно же, соглашаюсь. Показать где угодно с такой красавицей — приятно и лестно. Особенно в узбекской забегаловке «Мадрант»...

— Тебя саму-то не съедят за этот обед? Ваша шефиня меня не переносит после той цитаты из Паркинсона.

Восточное кафе, где на подушках полагается красиво полулежать, но Лёка сидит на краешке пуфа, — как будто ее вот-вот сгонят. А я ложусь, конечно, и валяюсь, пока несут заказ: я всегда предпочитаю, если это возможно, присесть, а еще лучше — прилечь, как космонавт Горбовский.

— Мне все равно, что она подумает, — говорит Лёка. — Я через месяц улетаю. Моего мужа переводят в Оренбург.

Вот оно что. Не понимаю людей, отдающих себя в заклад другим людям, как вещи. Я так и говорю ей: не понимаю, как можешь ты так, ведь есть свобода выбора, свобода воли. Или ты хочешь лететь с ним туда, из Москвы, из центра мира, в его, прости господи, жопу?

— Нет, не хочу. Мне нравится в Москве. Я хотела бы здесь остаться.

— И?

Мне правда непонятно. Не хочешь — не делай. Зачем отдавать свою жизнь бог знает кому, если ты даже этого не хочешь. Вот если хочешь, иначе не можешь, другое дело.

— Ты же знаешь, какая у нас зарплата, — мягко напоминает Лёка.

Я знаю, я же внутренний аудитор. Я иногда ее даже для вас считаю, ту, черную, когда директор ваш в отпуске. Это жестокая шутка, а не зарплата, на такую не купишь «юнайтед нюд». Так вот оно что, — муж содержит, покупает тебя, и ты не можешь ему отказать. Но можно же... Нет! Я прикусываю язык, буквально, физически больно,

чтобы ненароком ничего не ответить. Поп Гапон вот так же вывел людей под пули, заманил и бросил. Я больше не буду так делать, правда.

Всегда есть выбор, всегда есть выход. Но нужно решиться. А я — негодная муза, безответственный искуситель, всегда прочь отступающий от искушенного — потом. И я молчу, улыбаюсь, киваю, подбрасываю и ловлю круглую, как монетка, подушку.

На другой день я уже с двенадцати дня прислушиваюсь к шагам в коридоре. Где же ты, Мисюсь? Вот проходит уборщица, волоча ведро на колесиках. Вот мой директор, сын директора Лёкиного, молоденький, на десять лет меня младше, пробегает, заглядывает:

— Привет! Пойдешь летать в аэродинамической трубе? В субботу. Ну пожалуйста!

— Меня там вырвет, — и снова носом в экран. Не пытайтесь вовлечь меня в коллектив. Я вещь в себе, орел на вершине, травка «не тронь меня».

А вот и он, наконец-то, цокот моего лесного оленя.

— Пойдем?

С тобою — пойдем.

Снова подушки, дождь за окном, слезы на стеклах, — как в дурном романе. А вот и сам он, дурной роман. Зимний гардероб дяди Ник-Нэка, летний гардероб дяди Ник-Нэка, и вот и сам — дядя Ник-Нэк.

— Ты смотрела фильм «Капоте»? — спрашивает Лёка, красиво скрещивая ноги. На ней сегодня кожаное платье и дымчатые чулки, со своей низкой лежанки я вижу их широкие ажурные резинки. Это царапает сердце. Как все красивое, впрочем, включая хор мальчиков и средневековые публичные казни.

— Да, смотрела. Одержимость, трусость, предательство — мои любимые темы.

— Трусость? Где же там трусость?

— Как ты не понимаешь? — я даже подпрыгиваю на подушках. — Он приехал писать книгу об убийстве и увидел убийцу — в клетке, больного хищника, «он увидел его — и погиб». Он бросился спасать, помогать, прекрасно зная, что убийца в ответ его не полюбит, но и не веря до конца, что убийца — именно этот, их ведь двое там было, этих убийц, и никто не знал точно, кто же из двух стрелял. Он принялся тянуть этого своего Перри — из ада, из жара, кормил его с ложки детским питанием, зная, что ответа не будет, ничего не будет, но, когда любишь, ведь важно, чтоб человек попросту был, остался, не пропал, плевать, твой он будет или нет. А потом, когда все-таки все это забрезжило, замерцало — апелляция, быть может, даже свобода, — он испугался. Побоялся взять все это — в руки. Испугался ломать свою жизнь ради Перри, который даже его не любит. Ведь пришлось бы бросить все нажитое непосильным трудом: репутацию, постоянного мужчину, друзей и лететь в пропасть вместе с этим самым Перри, который даже толком никогда его не полюбит, потому что он не гей, он обычный дядька, к тому же психопат. Стало проще убить его, отменить апелляцию, уничтожить его и освободиться. Проще, чем уничтожить ради него — всего себя.

— А мне показалось, что и Перри немножечко — тоже...

Лёка опускает ресницы и садится, подобрав одну ногу, — благородный олень. И целый мир отражается в дымчатом муаре ее колен.

— У Перри была своя игра, жалкая, беспомощная, уловки смертника. Он готов был зацепиться, подыграть — хоть кому. Он привязался, конечно, — но оттого лишь, что был зависим. А зависимость, увы, не любовь.

— А одержимость — любовь?

— По крайней мере, очень похожа.

— Мне кажется, он испугался, когда прочел дневник Перри, когда понял, что полюбил чудовище. Он же вначале не верил, что и Перри убивал, он думал, что убийца только тот, второй.

Увы, можно любить и убийцу. Прекрасно зная, что это убийца. Но это я вряд ли скажу Лёке вслух. Я соглашаюсь:

— Наверное. Но для меня все равно он трус. Если ты позволил в себя поверить, позволил к себе привязаться, стоило взять на себя ответственность. Если любишь, — можно и рискнуть, и взять на себя эту сраную ответственность, или хотя бы попробовать.

— Легко тебе — в белом плаще.

Увы, белый мой плащ давно и изрядно забрызган кровью. И я говорю сердито, зная, что буду потом ругать себя:

— Ты думаешь, я пытаюсь сейчас сказать «да вот я бы, да на его месте...» Нет, Лёка. Я была на его месте. Апелляции, все такое. Возлюбленный убийца, свидания на час. Так что это, наверное, единственный вопрос, где я имею право судить. Вот разве что мой убийца любил меня.

Мой убийца любил меня. И любит сейчас.

Пять лет назад один тверской криминальный авторитет, заключенный на зоне «Васькин Мох», такой лев — зимой лениво интригующий, повелевающий и между делом перебирающий в телефоне разведеночек с сайта знакомств, увидел на одной страничке девушку — один в один биоробот из фильма «Через тернии к звёздам». Платиновый ежик, глазищи, ресницы и легкий скелет. Ваша покорная слуга, о да. Ему стало любопытно, и мне стало любопытно. Обоюдное — «хочу такую игрушку!»

Меня привезли к нему на свидание на заднем сиденье джипа, такого, из серии «девочка, девочка, гроб на колёсиках». И, клянусь, на том самом первом нашем свидании он смущался, как школьник, вот этот осужденный за организацию заказного убийства, патрон трех борделей у себя в Твери. Мне позволили потрогать его руку через решетку, — как тигра.

Это был каприз для обоих. Но капризы балованым дуракам порой застыт разум. Мы даже поженились, хотя могли бы этого и не делать, ведь он мог встречаться с женщинами и так, но он очень хотел такую игрушку получить и оставить непременно себе. Он на свадьбе впервые осторожно коснулся моих волос, и пальцы дрожали. Наверное, инопланетный серебряный ежик привел его в трепет. К свадьбе он был иссушен вконец — и ожиданием, и метадоном.

А получив игрушку, — в нее играют. Пока не сломают к хуям. И мы шестой год танцуем с ним наш танец висельников: апелляции, УДО, адвокаты, новый срок, ночные звонки, ночные такси, — чтобы успеть с утра зайти на свидание. Любовь, лицо которой отныне — черная вудуистская маска. Спрятать труп, и замыть в коридоре кровь, и вытащить пулю при помощи разогнутой скрепки. Так и играем, играем, рассекая ладони тюремным насмерть заточенным стосом...

— Во-от, — говорю я Лёке.

Она слушает с ужасом. Я даже знаю, что она сейчас думает. «А мой-то супругник — ангел». Она смотрит на меня очень внимательно, надеется, наверное, разглядеть на моем челе печать порока. Видит бог, там ее нет, на лбу, над бровями, чуть розовыми от вчерашних уколов ботокса. Но на запястьях, припухших чуть-чуть от других уколов, наверное, есть.

— И что бы ты выбрала — ну, на месте Капоте? — наконец-то спрашивает Лёка.
— Да то, что и выбрала. *Nihil time nihil dole*. Ничего не бойся и ни о чем не жалея.

— А ты какой... — пауза, глубокая, как могила, — ориентации? Нет, я помню про мужа, но опыт показывает, что муж иногда ничего не значит...

— Личный опыт?

— Ага.

Этот обеденный перерыв посвящен не обеду, а примеркам. Лёка вертится перед зеркалом за задернутой шторой, я сижу подле на пуфе. Ведь если можно сесть... Жаль, что прилечь тут негде. В магазинчике со смешным названием «Натяни медведя» или что-то вроде того.

Этот ее вопрос — об ориентации, но он и о чем-то большем. Хочу ли я, могу ли я, говно ли я... магнолия? Нет, я прекрасно знаю, что делать с девушками в определенные моменты, но, если мы отважимся на подобные телодвижения, — как же поступит мой чудовищный муж? Убьет нас обоих из обреза-мелкашки или же развернется и удалится прочь, иронически поведя плечами? Я никогда не решусь проверять.

И я отвечаю — как отвечала на этот вопрос и прежде всем прочим, уже пять лет:

— Знаешь, больше всего меня возбуждают публичные квалифицированные казни.

Лёка переступает ногами за бархатной шторой. Я вижу только ее ступни, очень узкие, в черной штриховке сетчатых чулок. Вот она вышагивает из чего-то сиреневого в розах — розы, сирень, Адонис, Адонаи, смерть от любви — и привстает на мыски. Штора колышется. Как в фильме Линча: синий бархат, за которым притаились безумие, небывалая убийственная страсть и отрезанное ухо.

— Завтра я улетаю, — говорит Лёка. — Ты сможешь подбросить меня в аэропорт? Это не очень нагло?

— А что твой благоверный?

— Он уже неделю как уехал.

— Ты же знаешь, Лёка, — я всегда у ваших ног, — я наклоняюсь и кончиками пальцев провожу по тончайшей сетчатой пятке. — Я отвезу тебя, конечно.

Так вот о чем он был, твой вопрос. Но из моих упущенных шансов можно уже собрать небольшую погребальную пирамиду. Какая там самая скромненькая — Джосера?

Прощай, детка, детка, прощай. Я забираю ее в аэропорт — на синей спортивной машине, особенно плоской и длинной — среди звероподобных устремленных ввысь чертановских высоток. Мы вкладываем чемоданы в багажник и даже на заднее сиденье. Двери у машины подняты, как крылья. Идет снег, и под снегом люди отчего-то кажутся чуть красивее. Особенно Лёка...

— Как сюда садиться — лёжа? — ее пугают лежачие, люлочкой, сиденья моего спорткара.

— Ну да, — я демонстративно укладываюсь за руль и опускаю дверь. — Тут, как в дипломатических дормезах восемнадцатого века. Раньше дипломаты перемещались в таких лежачих горизонтальных саях, вроде кожаных гробиков. Из Петербурга в Варшаву — за два дня. Печка, меховая полость и пистолеты — отстреливаться от волков.

Лёка устраивается на сиденье — осторожно и бережно, и опускает дверь. Я вывожу машину из чертановских дебрей на шоссе, и снег падает на лобовое стекло с размаху, как вдова на гроб, с самым последним отчаянием.

— Знаешь, Лёка, я тебя обманула, — говорю я, и дворники сметают снег со стекла, разбрызгивая слезы, — насчет ориентации. Я не столь прихотлива, как хочу казаться. Мне на самом-то деле вообще все равно, тем более в моем возрасте мне не особенно что-то и предлагают. И если девушка что-то мне предложит, да что там девушка, даже если симпатичный конь...

Лёка смеется.

— Во-от. Если девушка мне предложит... Но я ведь опоздала с ответом, правда?

Лёка кивает.

— Знаешь, Лёка... — мы проезжаем как раз тот самый поворот к моему дому, и мне стоит лишь повернуть руль... Но я не буду. Поп Гапон, помнится, даже повесился в итоге после всех дурных своих завирательных инициатив. — Знаешь, мне кажется, Капоте не струсил. Ему просто очень хотелось дописать свою книгу. Чтобы был красивый, логичный финал. А чтобы дописать книгу — главный герой должен был умереть. Вот он и позволил ему умереть. Просто разжал руку — лети.

Лети...

До самого аэропорта мы не говорим. Я помогаю Лёке выгрузить чемоданы и даже подманиваю для нее носильщика. Но я не стану на прощание целовать ее или обнимать. Я возвращаюсь за руль — крыло двери падает вниз — и выкатываю с эстакады. Я могла бы дожидаться, посмотреть, как взлетит ее самолет. Но я не стану.

Снег падает и падает, и под снегом люди кажутся — все-таки чуть красивее, чем они есть.

Я когда-нибудь напишу роман о кораблях, о башмаках, о сургучных печатях. Не о любви же... И заставлю героя — капризом демиурга — наконец-то решиться. Не дрожать хвостом, не просчитывать варианты.

Напишу роман, заставлю героя. По-другому я пока не умею.